

S E R I E S M I N O R



Г. А. ГУКОВСКИЙ

РАННИЕ РАБОТЫ  
ПО ИСТОРИИ  
РУССКОЙ ПОЭЗИИ  
XVIII века



«ЯЗЫКИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ»



Г. А. ГУКОВСКИЙ

РАННИЕ РАБОТЫ  
ПО ИСТОРИИ  
РУССКОЙ ПОЭЗИИ  
XVIII века

*Общая редакция  
и вступительная статья  
В. М. Живова*



ЯЗЫКИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Москва

2001

ББК 83.3(2Рос=Рус)1  
Г 93

Издание осуществлено при финансовой поддержке  
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)  
проект № 01-04-16188

**Гуковский Г. А.**

Г 93

Ранние работы по истории русской поэзии  
XVIII века / Общ. ред. и вступ. ст.  
В. М. Живова. – М.: Языки русской культуры,  
2001. – 352 с. – (Studia philologica. Series  
minor).

ISBN 5-7859-0147-1

В настоящем издании собраны ранние работы крупнейшего специалиста по истории русской литературы XVIII в. Г. А. Гуковского. Исследуя русскую поэзию данного периода, Г. А. Гуковский в 1920-е годы основывался на идеях и аналитическом инструментарии русского формализма. Формальный метод в его исследованиях был модифицирован и приспособлен к задачам изучения литературы, находящейся в периоде становления. Публикуемые работы составляют ту часть творческого наследия ученого, которая сохраняет наибольшую актуальность и оказывает стимулирующее воздействие на современные размышления. Его исследования, посвященные полемике Ломоносова и Сумарокова, сумароковской школе, раннему Державину, русской элегии и анакреонтике, концептуальным основам русского классицизма, входят в сокровищницу отечественной филологии и являются необходимым подспорьем и для историков литературы, и для студентов-филологов.

ББК 83.3(2Рос=Рус)1

**Григорий Александрович Гуковский**  
**РАННИЕ РАБОТЫ ПО ИСТОРИИ**  
**РУССКОЙ ПОЭЗИИ XVIII ВЕКА**

Издатель А. Кошелев

Художественное оформление обложки  
Наталии Прокуратовой и Сергея Жигалкина.

Корректоры: М. Н. Григорян (с. 7–213), В. Айрапетян (с. 215–330)

Подписано в печать 04.11.2000. Формат 84x108 1/32.

Бумага офсетная № 1, печать офсетная. Тираж 2500. Усл. п.л. 8,91. Заказ № 962

Издательство «Языки русской культуры».

129345, Москва, Оборонная, 6–105; ЛР № 071304 от 03.07.96.

Тел.: 207-86-93. Факс: (095) 246-20-20 (для аб. М153).

E-mail: mik@sch-lrc.msk.ru Каталог в ИНТЕРНЕТ <http://www.lrc-mik.narod.ru>

Отпечатано в соответствии с качеством предоставленного оригинал-макета  
в ППП «Типография «Наука». 121099, Москва, Шубинский пер., 6

© Г. А. Гуковский, 2001

© В. М. Живов. Вступительная статья,  
2001

© Ю. С. Саевич. Оформление серии, 2000

Электронная версия данного издания является собственностью издательства,  
и ее распространение без согласия издательства запрещается.

## СОДЕРЖАНИЕ

*Виктор Живов. XVIII век в работах Г. А. Гуковского,  
не загубленных советским хроносом* ..... 7

### *РУССКАЯ ПОЭЗИЯ XVIII ВЕКА*

Предисловие .....	37
Ломоносов, Сумароков, школа Сумарокова .....	40
Элегия в XVIII веке .....	72
Об анакреонтической оде .....	117
Ржевский .....	157
Первые годы поэзии Державина .....	184
Примечания .....	200
Сокращения .....	213

### *СТАТЬИ*

О сумароковской трагедии .....	214
Из истории русской оды XVIII века ( <i>Опыт истолкования пародии</i> ) .....	229
К вопросу о русском классицизме ( <i>Состязания и переводы</i> ) .....	251
О русском классицизме .....	277
Racine en Russie au XVIII <sup>e</sup> siècle ( <i>La critique et les traducteurs</i> ) .....	329
Racine en Russie au XVIII <sup>e</sup> siècle ( <i>Les imitateurs</i> ) .....	348
Список первых публикаций .....	368

## XVIII ВЕК В РАБОТАХ Г. А. ГУКОВСКОГО, НЕ ЗАГУБЛЕННЫХ СОВЕТСКИМ ХРОНОСОМ

В 1984 г. Ю. М. Лотман в частном письме с экзистенциальной отрешенностью замечал: «Грустно, но и интересно следить — уже нельзя читать Гукковского, кроме самых ранних работ, ушло многое из Томашевского, увядает Бахтин... Но, как говорил Пушкин, “не сетуйте — таков судеб закон!”» (Лотман 1997, 81). На чем именно основывалось это меланхолическое наблюдение, Лотман уточнять не стал, да, видимо, и не слишком стремился анализировать. Между тем, взглядевшись, он обнаружил бы противоречивость своих чувств. Меланхолию навевал бег времени, немилосердный к ученым достижениям. Кто из нас, филологов, не подозревает, что наша участь мгновенна и что через полвека наши интеллектуальные находки, столь вдохновлявшие нас в свое время и находившие желанный отклик у наших коллег, вызовут у досужего читателя лишь ироническую усмешку, огульно распространяющуюся на самые речевые навыки достопочтенной старины. Это ли не основание для печали — особенно при сопоставлении нашей несчастной судьбы с немеркнувшей славой тех, кому мы посвящаем наши труды. Не лучше ли написать нового «Бориса Годунова», чем самую блестящую статью о русской исторической драме?

Это, однако, лишь одна сторона дела. Ведь невозможно стало читать, по мнению Лотмана, то, что Гукковский писал в свои зрелые годы, а «самые ранние его работы» бег времени пощадил. Это переворачивает временную перспективу и выглядит нелогично. Не означают ли эти причуды хроноса, неожиданно устремившегося

назад, что не он здесь виноват, а характер тех дел, которые уносит река времен? В этом случае здесь не общая экзистенциальная проблема — достойный предмет меланхолического созерцания, — а частный момент. Хронос поторопился расправиться с теми трудами почтенного автора, которым присуща характерная колористическая гамма сталинской эпохи. Но тогда откуда же эта печаль? Не обращена ли она не к хроносу экзистенциальному, а к хроносу советскому, с особым умением превращавшему блестящие начала в тускнеющие финалы, лишь ненароком напоминающие о том, что было раньше? Конечно, к Бахтину это не относится, в отношении Бахтина, который в эпоху постструктурализма читается не с меньшим, а с большим и даже возрастающим интересом, Лотман ошибался, но в отношении Гуковского время лишь подтвердило лотмановский диагноз. Это делает насущной задачей переиздание «самых ранних работ» Гуковского, пока они еще не попали в казематы хроноса, и вместе с тем ставит перед нами вопрос о том, что обеспечивает долговечность этих трудов и отличает их от позднейших работ, вызвавших печальные размышления Лотмана. И в продолжение этой темы нам вряд ли удастся обойтись без нескольких слов о том, что случилось с Гуковским или с тем словесным пространством, в котором он трудился, о том, почему в этом пространстве зрелость так часто становилась синонимом упадка, а добровольный компромисс — предшественником гибели.

В первом издании «Литературной энциклопедии» о Гуковском говорится (том «Григорович — Дяльский» вышел в 1930 г.): «Работы Г. свидетельствуют о большой эрудиции автора, но формалистический подход к изучению литературы невыгодно отражается на его выводах и наблюдениях, заставляя расценивать его работы гл. обр. как сводки фактического материала, до сих пор мало исследованного» (т. 3, стб. 79). Где именно у Гуковского отражается «формалистический подход», сейчас может быть не всегда ясно, потому что нынешнему читателю формалистический инструментарий ранних работ не слишком бросается в глаза. Сегодня эти работы выглядят достаточно традиционными филологическими сочинениями, и нужно приглядеться, чтобы различить в них наследие формальной школы — учителей Гуковского.

От своих учителей Гуковский усваивает прежде всего тезис об имманентном литературном развитии. В постмодернистском пространстве само представление о литературной системе — системе

текстов, созданных индивидуальными авторами по законам поэтики соответствующего периода и выделяющихся из прочих текстов своей эстетической (художественной) функцией, — кажется в целом неплодотворным. Однако на фоне позитивистского психологизма и либерально-академического пристрастия к совокуплению «художественного» вымысла с общественным развитием обращение к словесной ткани эстетических предметов пахло той же сырой резедой, что и свобода футуристической поэзии. Сколько много в этом молодом энтузиазме было непродуманного, но органического стремления перестроить отношения между словом и властью, сначала отнимая для себя власть на правах собственников слова (как об этом мечтал Хлебников), а потом отделяя себя от власти, когда сталинский проект апроприировал те фрагменты авангарда, которые ему оказались по душе (ср.: Гройс 1993), а на долю формалистов оставил быстро рассеявшуюся иллюзию автономии словесного существования, можно сейчас не говорить. Об этом можно не говорить потому, что Гуковский появился к шапочному разбору. Он принадлежал молодому поколению формалистов, о котором Ю. Тынянов, в передаче Л. Гинзбург, говорил: «Что же, они пришли к столу, когда обед съеден» (Гинзбург 1989, 32).

Остатков от этого обеда как раз хватило на пристойную историю литературы — без тех ватейливых закусок, которых не оставили молодым их наставники. Тынянов написал «Оду как ораторский жанр» (Тынянов 1927; работа была в основном завершена на несколько лет раньше публикации, ср.: Тынянов 1977, 490—491), пытаясь на основе сомнительных операций с ломоносовским стихом приписать первому русскому государственному поэту ту же витийственную «установку», которую он находил у Маяковского (Тынянов 1927, 128). Р. Якобсон в книге «О новой русской поэзии» разыскивал у того же Ломоносова «дерзостные тропы» (Якобсон 1921, 30), перебрасывавшие мостик от отца русской поэзии к Хлебникову<sup>1</sup>. Молодой Гуковский таких амбиций не

<sup>1</sup> В рецензии на эту работу В. В. Виноградов не без иронии отмечал (1976, 464), что дерзостный троп, приводившийся Якобсоном в качестве иллюстрации («Брега Невы руками плещут»), «не был "дерзостным" и "во времена" Ломоносова. Это — обычная для Ломоносова реминисценция Псалтыри: "рѣки воспещутъ рукою вкутъ..." (97, 8)». Якобсон, в отличие от Виноградова, Псалтыри не знал и больше интересовался «приемами», нежели филологическим правдоподобием.

имел, прошлое для футуристов не конструировал<sup>2</sup>, а ставил перед собой более скромные и более исторически оправданные задачи. Он стремился выстроить литературные факты XVIII в. в последовательность, обладающую логикой внутреннего развития. Конечно, в реконструкции этой логики всегда сохраняется спекулятивный элемент, так что многие выводы Гуковского оказались спорными. Тем не менее построения, созданные Гуковским в 1920-е годы, вошли в науку и определили те исходные схемы, на которых базировалось дальнейшее изучение литературы XVIII в. Поскольку они хорошо впитались в ткань исследовательской мысли, они сейчас не производят впечатление открытия, но это скорее не недостаток, а достоинство, присущее заложившим фундамент трудам. Фундаменты, как мы знаем, изнашиваются и требуют обновления, но для этого занятия соответствующие конструкции нужно обследовать. Эта надобность и побуждает переиздать ранние работы Гуковского.

Интерес формалистов к литературе XVIII в. был в существенной степени обусловлен тем, что в теоретическом отношении XVIII столетие их предшественники оставили совсем не тронутым. Известные ученые скопидомы — такие как П. П. Пекарский или М. И. Сухомлинов — создали многотомные собрания материалов, но понимание происходивших в литературе процессов не шло дальше утверждений о полной подражательности русского ложноклассицизма, его сервильности в отношении общественном и его паралитичности в отношении эстетическом. Здесь-то и открывалась блестящая возможность показать, что там, где академическая наука не разглядела ничего, была настоящая жизнь, что у литературного процесса была собственная (а не заимствованная) динамика, что она определяла разнообразие авторских установок, а те в

---

<sup>2</sup> Однако отголоски этой сомнительной дискурсивной практики у Гуковского все же можно обнаружить. Так, призывая молодых советских граждан всмотреться в литературу XVIII в., Гуковский пишет: «Не только ряд отдельных особенностей, характерных для повтического движения Ломоносова, Сумарокова, Державина, не только некоторые пункты в общем понимании литературных фактов неожиданно сближаются с аналогичными моментами современных нам художественных течений, <...> но даже общий эмоциональный тон, пафос, присущий той молодой, бодрой эпохе, — должен радостно и желанно восприниматься современным читателем, сумевшим уловить этот пафос» (Гуковский 1927, 6).



свой черед детерминировали набор применявшихся приемов. Старшие «формалисты» сосредоточиться на XVIII в. были не готовы, и эта эпоха со всеми ее специфическими проблемами была отдана в разработку «молодому» Гуковскому.

Впрочем, молодым в это время Гуковский был вовсе не метафорически. Он родился в Петербурге в 1902 г. и в 1923 г. окончил факультет общественных наук Петроградского университета. В том же 1923 г. к факультету общественных наук был присоединен Институт сравнительной истории литератур и языков Запада и Востока (ИЛЯЗВ), в котором работали В. Н. Перетц, В. В. Сиповский, В. М. Жирмунский, Б. М. Эйхенбаум; в аспирантуру этого института и поступил Гуковский. Здесь он входит в контакт с опоязовцами, работавшими в Институте истории искусств, и именно от них получает на откуп XVIII век: Гуковский начинает читать лекции по истории русской литературы XVIII в. на Высших курсах искусствоведения при этом институте. В рамках этой преподавательской работы и приобретают законченную форму его первые ученые труды, написанные еще в 1923—1924 гг. По воспоминаниям Л. Я. Гинзбург, относящимся к этому времени, «Гриша <Гуковский> говорит, что у него артикуляционное мышление, то есть лучшие мысли возникают у него в процессе говорения (особенного, лекторского)» (Гинзбург 1989, 66).

Хотя Гуковский в предисловии к «Русской поэзии XVIII века» ссылается на труды П. Н. Сакулина и В. В. Сиповского (1927, 6), он ставит перед изучением литературы этого периода совсем новые задачи, вытекающие из общих установок русского формализма (ср. неумную характеристику П. Н. Беркова: «первые научные работы Гуковского, написанные с позиций ортодоксального формализма» — Берков 1964, 189). Литература каждой эпохи образует систему (а не совокупность индивидуальных поисков и находок); литературные факты объединяются «в понятиях школ, направлений, традиций; все поле литературы любой эпохи удобно разделяется на участки, и всякая система оказывается отчетливо локализуемой на скрещении и продолжении тех или иных линий, путей, традиций» (Гуковский 1928, 126). «Поле литературы» существует в «данной исторической среде», которая определяется в терминах «эстетического мышления эпохи, как высшего единства» (там же, 126—127). Это эстетическое единство оказывается самодельным субъектом литературного процесса, отдельные фак-

ты «могут и должны быть истолкованы как знаки сущности художнического миропонимания эпохи; они являются более или менее бессознательными проявлениями отношения ее к самой себе как литературе» (там же, 127).

Понятно, насколько радикально отличался этот подход от традиционной истории литературы, имевшей дело с индивидуальными авторами, психологическими и социальными импульсами их творчества и расплывчато определяемыми «литературными стилями», которые вступали в непонятные отношения с авторскими индивидуальностями (примером подобной истории литературы в применении к русскому XVIII в. может служить книга П. Н. Сакулина — Сакулин 1918). Вместе с тем, и у этого подхода были свои внутренние ограничения, которые несомненно сказывались на характере отбираемых для рассмотрения феноменов. «Дух эпохи», с которым имеет дело Гуковский, предстает как монологическая саморазвивающаяся литературная система, диалогичность сведена в ней к «скрещению» или противостоянию литературных направлений, т. е. к абстрактным операциям с однозначно определенными (статическими) сущностями. Попытка выстраивания литературы как целокупной системы лишает ее имманентной диалогичности, распространяющейся и на отношения между текстом литературы и автором как конструируемым агентом этого текста, и на взаимосвязь между эстетическими предметами и располагающим ими социумом, на слово и авторитетность, на эстетическую установку и власть. Ветви и корни литературного дерева вылезают за пределы той решетки, которую возводит формальный метод, и поэтому никакого целостного предмета на очерченном таким способом пространстве не помещается.

Гуковский — во всяком случае в 1920-е годы — об этой неизбежной скудости своего подхода, видимо, не догадывается (к тому, как эволюционировали его взгляды в дальнейшем, мы еще вернемся), и фрагментарность своих построений относит на счет внешних обстоятельств. Как он пишет в предисловии к «Русской поэзии XVIII века», «книга не может иметь характера необходимой цельности и законченности. Как вследствие обширности материала, так и вследствие недостатка места, приходилось останавливаться лишь на отдельных характерных моментах истории поэзии XVIII века. Получился как бы ряд очерков, разнохарактерных в смысле принципа отбора материала» (Гуковский 1927, 6—7). Ничего не меня-

ют, понятно, в этой фрагментарности и статьи, опубликованные Гуковским в 1920-е годы, они объединены с книгой единым подходом и представляют собой, по существу, дополнительный ряд очерков, обнаруживающих те же достоинства и те же недостатки. Как и книжка, они не дают полноценной общей картины литературной динамики в России XVIII в., однако с тщательностью и пронизательностью описывают те уголки культурного пространства, которые поддаются анализу с помощью избранного Гуковским инструментария. Не все из этих трудов в равной мере сохранили свою актуальность, некоторые были перекрыты позднейшими исследованиями. Однако во всех случаях они создали тот исходный чертеж, который перерабатывался или обрстал новыми деталями в последующих работах. Так что раннее творчество Гуковского и сейчас может служить хорошим введением в историко-литературную проблематику русского XVIII века.

Центральным для всего цикла ранних работ Гуковского о XVIII в. оказывается понятие «сумароковской школы». Сумароков и его последователи предстают у Гуковского как сложившееся и достаточно гомогенное литературное направление, объединенное и общими эстетическими принципами, и совокупностью используемых поэтических «приемов». Первый этап литературной истории, понимаемой Гуковским в терминах литературных «направлений», состоит в борьбе Сумарокова с ломоносовской линией (что, конечно, предполагает в качестве *sui generis* предыстории или точки отсчета ломоносовский период, лишенный полемической динамики и потому неполноценный), второй — в становлении и торжестве сумароковской школы, третий — в вызревании новой поэтики внутри этой школы, возникающей как отклонение от сумароковского канона, последний — в державинском синтезе, трансформирующем одновременно и сумароковскую, и ломоносовскую традиции.

Эта историко-литературная схема превращена в конденсированную историю литературы XVIII столетия в статье Гуковского «Von Lomonosov bis Deržavin» (Гуковский 1925). Она не содержит практически ничего нового сравнительно с публикуемыми в настоящем издании русскими работами Гуковского («Русская поэзия XVIII века» была к 1925 г. уже в основном написана), однако отдельные очерки и фрагменты помещены здесь в хронологический ряд и снабжены подзаголовками: Lomonosov, Sumarokov,

Sumarokov's Schule, V. Petrov, Die siebziger Jahre, Deržavin (Гуковский 1925, 329, 334, 344, 351, 355, 359)<sup>3</sup>. Характерно, что Гуковский строит здесь изложение, ориентируясь на отдельных авторов (а не на жанры или типы поэтической речи); это традиционное представление литературной истории находится в противоречии с тем принципом анонимности, который Гуковский приписывает (через несколько лет) эпохе классицизма (см. ниже). Сфокусированная на Сумарокова жесткая схема с известной навязчивостью проводится через все конкретные исследования Гуковского этого периода. Отсюда и некоторые натяжки, когда, скажем, выброшенным на обочину литературного процесса оказывается Третьяковский, приуменьшаются расхождения между Сумароковым и Херасковым, недооценивается «барочный» характер поэзии Ржевского или чрезмерно акцентируются сумароковские черты в поэзии молодого Державина.

«Русская поэзия XVIII века» открывается очерком «Ломоносов, Сумароков, школа Сумарокова», в котором автор задает основные координаты конструируемого им литературного простран-

<sup>3</sup> Мы не помещаем данную статью в настоящем сборнике, поскольку более чем на девять десятых она представляет собой немецкий перевод публикуемых в сборнике текстов. Вводная часть статьи и разделы, посвященные Сумарокову и Ломоносову, соответствуют первой главе «Русской поэзии XVIII века» (Гуковский 1925, 324—344; Гуковский 1927, 9—31) с небольшой вставкой о сумароковской трагедии, пересказывающей выводы соответствующей русской статьи автора (1925, 343; 1926, 70—73). Раздел о Сумароковской школе (1925, 344—351) начинается с пересказа аналогичных пассажей из первой главы «Русской поэзии» (1927, 32—38) и продолжается переводом этой же главы (1927, 39—45) с незначительными добавками о баснях Хераскова и Майкова и с вставкой из статьи об влэгии из той же «Русской поэзии». Раздел о В. Петрове (1925, 351—355) в основном совпадает со страницами, посвященными этому автору в первой главе «Русской поэзии» (1927, 45—47), с добавками, находящими соответствие в статье «Из истории русской оды XVIII века» (1927а). Раздел о семидесятих годах (1925, 355—359) в основном совпадает с первыми страницами последней главы «Русской поэзии» (1927, 183—184) с небольшими вставками, посвященными басням Хемницера и «Россиаде» Хераскова. Раздел о Державине (1925, 359—365) повторяет заключительную часть державинской главы в «Русской поэзии» (1927, 197—201) с минимальными добавками, в которых говорится о стилистических приемах зрелого Державина.

ства. Он прочерчивает ось Ломоносова и ось Сумарокова. «Системе» Ломоносова приписывается иррационализм поэтического восторга (как принцип организации оды), воплощающийся в сложных метафорах, развернутых периодах (максимально удаленных от естественной речи) и словесном изобилии, составленном преимущественно из необыденных слов церковнославянского происхождения. «Система» Сумарокова основывается на прямо противоположных принципах, она характеризуется установкой на ясность и простоту, выражающейся в отказе от тропов, в приближенном к разговорному строении фразы и ограниченном использовании славянизмов, которым автор предпочитает коллоквиализмы. В этой конструкции Гуковский опирается прежде всего на полемические сочинения Сумарокова, замечая несколько голословно, что «[т]ворчество Сумарокова <...> столь же противоположно Ломоносовскому, сколь и теория» (с. 26).

Гуковский отдает себе отчет в том, что «контрастное изображение обоих направлений поэзии середины века страдает неизбежной схематичностью» (с. 31), однако он не вполне осознает меру своего схематизма. В его ограниченном собственно «литературными» текстами пространстве не заметно того очевидного противоречия, которое создает «совершенная немыслимость» (с. 17) поэтики Ломоносова в сочетании с его — последователя Лейбница и Вольфа — рационализмом. Как справедливо заметила Р. Лахманн (Лахманн 1981), Гуковский, воспроизводя спекулятивные построения Тынянова, недооценивает рациональный момент в одическом стиле Ломоносова. Он игнорирует европейский контекст полемики Ломоносова и Сумарокова, ясно показывающий, что оба автора исходят из одной и той же совокупности эстетических идей (тех, которые позже в блистательных работах Л. В. Пумпянского будут определены как воззрения «школы разума» — см.: Пумпянский 1937; Пумпянский 1983), но по-разному интерпретируют их в применении к русской культурной ситуации. Эта разность интерпретации соотносится с несходством социальных задач, которые ставят перед собой два автора (социальный аспект в ранних работах Гуковского практически отсутствует), вместе с тем эти задачи теснейшим образом связаны с жанровым диапазоном их творчества. Разность установок реализуется прежде всего в полемическом противостоянии и в несовпадении культивируемых Ломоносовым и Сумароковым жанров, тогда как в рамках совпадающих жанров

литературная практика обнаруживает многочисленные сходства, релятивирующие сконструированную Гуковским бинарную оппозицию (ср.: Гринберг и Успенский 1992). Показательно, что Сумароков неоднократно употребляет в своих торжественных одах (особенно в их первоначальных редакциях) те самые выражения, с помощью которых он пародирует Ломоносова (ср.: Живов 1996, 248—249; Вроон 1995/96).

Эти натяжки тем более бросаются в глаза и связываются с попыткой навязать материалу внутрилитературную системность, что проблема жанра была одной из наиболее важных для Гуковского и ее обсуждение в рамках анализа отдельных жанров оказывается основой наиболее интересных ранних работ исследователя. В книгу «Русская поэзия XVIII века» вошли две таких работы: «Элегия в XVIII веке» и «Об анакреонтической оде». В реконструкции русской жанровой иерархии XVIII столетия Гуковский опирается на в целом верное (хотя несколько им догматизируемое) представление о «принципиальной анонимности литературных произведений XVIII века», когда читатели задавались вопросом «не об авторе, а о жанре» (Гуковский 1929, 56; ср. ниже).

Такой подход требовал однозначного определения жанра, предполагающего выделение его доминантных характеристик и описания индивидуальных вариантов как отклонений от эталона. Для элегии Гуковский в качестве доминантных черт постулирует тематику несчастной любви, которая реализуется в декламации от первого лица, «подробно изображающего свое настроение, мотивированное намеченной в общих чертах лирической ситуацией» (Гуковский 1927, 56). В соответствии с этим жанровым заданием находятся поэтические приемы элегии (смысловая тавтологичность, аффективные формулы и т. д.).

Образцовое воплощение этих жанровых признаков Гуковский находит в элегиях Сумарокова 1759 г. Эта жанровая специфика продержалась, согласно Гуковскому, «вплоть до конца 50-х годов; в это время ясная, упрощенная система Сумароковской тематики начинает устаревать» (с. 67). Затем она начинает стремительно разлагаться в творениях так называемых учеников Сумарокова, их попытки «приводят <...> к последовательному пути, по которому элегия должна была уйти от окаменения в Сумароковских шаблонах» (там же). Гуковский, увлеченный формальным принципом, не замечает абсурдности своих утверждений: жанровая доминан-

та, созданная элегиями 1759 г., устаревает в конце 1750-х годов, т. е. старость приходит к ней вместе с рождением. И тематическое, и стилевое разнообразие элегии с самого начала задавало этому жанру более широкие рамки, чем Гуковский приписывает сумароковскому эталону, и в этих рамках данный жанр существует и до и после 1759 г., так что младшие современники Сумарокова не ревизуют этот эталон, а развивают присущий элегии потенциал, основываясь на разнообразных — античных, западноевропейских и русских — образцах (см.: Кронеберг 1972). Эти несообразности, однако, не обесценивают работу Гуковского, она упорядочивает обширный материал, фиксирует один из аспектов динамики жанра и создает основу для дальнейшей дискуссии. В этом плане она плодотворна — в отличие от многих позднейших советских работ, подменявших концептуальный анализ, хотя бы и спорный, бессистемным и безрассудным перечислением.

Не менее стимулирующей была и статья Гуковского об анакреонтической оде. Основной *pointe* этой работы состоит в определении дифференциального признака (*differentia specifica*) этого жанра как чисто метрического. Именно «поскольку признаком этого жанра была метрическая характеристика его, она <анакреонтическая ода> являет замечательный пример жанрового мышления эпохи» (Гуковский 1927, 125). В противность своим западноевропейским и античным образцам, «[т]ематического единства русские “анакреонтические” оды не имеют; помимо обычных “анакреонтических” в немецком смысле тем, они принимают темы совершенно иного порядка, не свойственные ни самому Анакреонту, ни его западным подражателям» (там же).

Это парадоксальное развитие анакреонтического жанра в России Гуковский связывает с актуальными для первых десятилетий русской силлаботоники проблемами, прежде всего с проблемой разграничения ритмической последовательности стихотворной речи на самостоятельные сегменты (строки). Этой цели обычно служила рифма, но рифма могла восприниматься как слишком легковесный способ решения задачи, как «игрушка»; заметки Гуковского о переосмыслении рифмы и белого стиха в русской поэтической мысли XVIII в. кажутся немаловажными и по сей день, хотя они и не учитывают в полной мере европейский контекст этой проблематики (ср.: Гаспаров 1984, 90—92). Внеметрические признаки стиха, которые вырабатывает русская анакреонтика, представ-